

Ю.И. АРХИПОВ (МОСКВА)

### МОЙ, ОН ЖЕ НАШ, ЧЕХОВ

Мой, моя, моё... Как же нас, эссеистов, всегда бранили в ИМЛИ за «ячество» академического склада литературоведы. Между тем, тут заявлена как раз скромность почти чеховская. Не претендуем, мол, на объективную Окончательную Истину (типа «Правды»), излагаем токмо свою точку зрения. Полагая, впрочем, что сумма таких вот отсебятин и может сложить вертикаль, восходящую к познанию чаемой объективности.

Но, разумеется, у завзятых, чистых «объективистов» свои права и достоинства. Особенно, если орудуют не кувалдой-догмой, а скальпелем-документом.

Как в недавней книге Алевтины Кузичевой о Чехове, изданной в почтенной серии ЖЗЛ. Небывало пухлый том в девять сотен страниц до предела нагружен документами. Настолько, что не осталось места для отсылок и сносок, хотя источники не скрыты, при желании любой дотошный «вед» без труда установит их идентичность. Располагает к доверию и самый тон письма: обращение с документами (и с героем) здесь самое бережное. То или иное состояние души биографируемого, побуждающее к тому или иному поступку и действию, просвечивается перекрестьем его признаний и свидетельских показаний сторонних лиц. В ход идут дневники, записные книжки, письма как самого Чехова, так и его близкого или дальнего окружения. Широко используется не только классика литературы о Чехове (Бунин, С. Булгаков, Волжский, Щепкина-Куперник, Книппер-Чехова, сестра, братья и прочая, прочая), но и архивный пласт данных, доселе мало кому известный. Собственных домислов автора книги почти никаких. Так что хрестоматийный упрёк Пушкина (врёт, мол, подлецы, великий человек не вам чета) тут не применишь. Никакой конфузливости при чтении не испытаешь.

Вынашивалась книга, естественно, много лет, но поспела вовремя – к столетиями юбилею. Еще прежде вышел перевод книги англичанина Доналда Рейфилда «Жизнь Антона Чехова», быстро разошедшийся у нас тремя тиражами. Не удивительно: всяческая «клюква» ныне в цене. А Рейфилд держит того всепобеждающего ныне на Западе учения, что человек – существо, прежде всего, сексуально озабоченное, а всякая там духовная культура – не более чем плод сублимации. Кто принимал участие в каких-либо учёных конференциях на Западе, помнит, с каким недоумением вздымаются брови собравшихся, если кто-нибудь из ареопага посягнёт на безоговорочный авторитет батюшки Фрейда. И бесполезно взывать к Роберту Музилю, например, считавшему фрейдизм болезнью, за терапию которой он себя выдает. Или к Набокову, также весьма язвительно прохаживавшемуся по «ведомству венского доктора». В ином ключе, чем у Рейфилда, биографии там теперь редко пишут. Не «Жизнь», а сенсационная, с коммерческим душком, история для гламурного «Каравана». Зато позитивистская оснастка, как всегда у мужей абендланда, на высоте: сносок и отсылок тут больше сотни в каждой главе.

Одна из них, глав, увидела свет – как «пилотный проект»? – несколько раньше: в примечательном сборнике «Четырежды Чехов», выпущенном эфемерным издательством «Запасной выход» к другому, печальному, юбилею классика – к столетию его кончины. Кроме Рейфилда поучаствовали ещё трое – Александр Чудаков, Андрей Битов и Игорь Клех (он же и составитель). Каждый выступил в своём роде. Известный литературовед Чудаков, стяжавший к тому времени неожиданную славу ещё и мемуариста, дал в своём очерке живописнейшую картину жизни Таганрога чеховских времён. Клех не без привычных претензий на изящество поупражнялся на тему «Как уходили кумиры».

А вот Битов провозгласил столь нашему брату родственное «Моё!». Так, с вызовом, и назвал свой опус: «Мой дедушка Чехов и прадедушка Пушкин». Увидев в зачинателе и завершителе золотого века русской литературы большое типологическое сходство. Тема, помнится, много и споро обсуждалась в

отделе теории литературы в ИМЛИ семидесятых годов (где, кстати, Битов был аспирантом, гримируя себя под Лёву Одоевцева из собственного романа). Тогда, правда, почти все спорщики сходились в том, что Чехов всё же, скорее, излёт великой традиции. Ныне Битов с этим выводом не согласен, и он, видимо, прав. Он даже настаивает чуть ли не на типологической идентичности двух гениев русской словесности. Начиная с астрологии, к которой Битов давно уже склонен (оба – Козы), и кончая редким-де в наших краях преодолением пусть и гениальной, но дикости. «Так вот что соединяет Пушкина и Чехова простым союзом «и»! Цивилизованность! Цивилизованные люди!».

Этой самой цивилизованностью Битов и объясняет особую, рекордную популярность Чехова на Западе. (Хотя вопрошение логики, почему тогда менее популярен Пушкин, остаётся без ответа.)

Битову приходится искать личной связи с классиком через дедушку своего и прадедушку. Мне повезло больше.

Во-первых, я тоже Коза. Во-вторых, часть детства своего (с пяти до восьми почти лет) провёл в Таганроге. Собирал по осени икебану из красно-оранжевых листьев (японский след!) около домика, в котором он родился: его Полицейская улица была совсем недалеко от нашей Монастырской (Александровской тож). Более того: когда умерла бабушка, отец был вынужден отдать меня на какое-то время в «детский сад санаторного типа». Не так давно я заметил в книжном магазине альбом «Таганрог» и обомлел. На глянцевого обложке издания красовалась фотография нашего приюта. С акацией под окном, около которого два года стояла моя кровать. Оказалось: лавка Чеховых, ныне филиал музея его имени. Город после войны лежал в руинах (весьма романтических, как нам казалось) и нас, беспризорных, сунули, ничего не объясняя, в уцелевший особняк. На заднем дворе, за кирпичной оградой, там виднелось солидное здание – «его» гимназия, куда я пошёл в первый класс. Огромный портрет (в пенсне, с прищуром) в фойе, «его» парта на музейном постаменте в одном из соседних классов.

А. Кузичева, собравшая много свидетельств о том, как тосковал и мытарился юный Чехов в лавке, где вынужден был весь день «присматривать», готовя уроки, словно бы углубила, спустя годы, и мою собственную меланхолию тех далёких лет. Вымахавшая за эти годы акация свидетель: всё-таки детдом – это тоже плен. «Мы пленённые звери, голосим, как умеем», – писал почти ровесник Чехова Сологуб.

Вообще-то я всегда мало верил, по правде говоря, в память стен. Пока не вразумил меня случай в одном Веймарском доме, в котором (за четыре года до Чехова) умер Ницше. Там теперь не только музей, но и приют германистов-стипендиатов со всего мира. Комнаты гостей дома находятся под самой крышей, этажом ниже – *Sterbezimmer* мыслителя-бунтаря. («*Ich sterbe*» были, как помнит и Клех, последние слова нашего классика.) Однажды ко мне подселили соседку – юную польскую аспирантку. Чуткой к старинным флюидам оказалась девушка: среди ночи стала вдруг оглашенно рычать и выть, то есть вести себя именно так, как заскорбевший главою Ницше под нами в последние годы жизни. Не мог не вспомнить я про ту таганрогскую чеховскую тоску, меня с ним связавшую.

Сдавая вступительный экзамен на филфак МГУ, я, конечно, выбрал темой сочинения «Антон Павлович Чехов как человек и писатель» (не писать же про Данко). Предался лирическим воспоминаниям (от себя не уйдёшь) и получил пятёрку, хотя сделал по рассеянности две ошибки. Факультет всё же творческий, и профессора были чуткие; сквозь рогатки нынешнего ЕГЭ я бы не проскочил.

С тех пор Чехов вошёл в число «вечных спутников», как назвал ещё один его младший современник Мережковский свою серию литературных портретов. Перечитывать что ни год нашу классику, снова и снова обливаясь слезами над их талантливым вымыслом, давно вошло в привычку. И почти всякий раз знаешь, какого рода удовольствие тебя ждёт. По-моцартовски солнечный Пушкин, по-куинджевски («Ночь над Днепром») волшебный Гоголь, по-гомеровски всеохватный демиург Толстой, по-вагнеровски диссонансный будоражка Достоевский, по-бидермайеровски благоуханный Тургенев...

И только принимаясь за Чехова, каждый раз не знаю, как-то он впечатлит на сей раз. То есть: вырос ли я достаточно за истекшее время, чтобы что-то ещё приоткрылось в этой загадочной простоте. «Где искусство настолько слито с жизнью, что не остаётся зазора», – как соглашаются между собой (совпадая и словами!) мои любимцы Свиридов и Бунин.

И чем больше проживаешь свою жизнь, тем сильнее Чехов манит к себе. И тем вернее утешает. Потому что это вечное, экклезиастово «Всё проходит» было и его настроением. И он как никто учит смирению перед неизбежным. И разделяет твою печаль по поводу мнимости, иллюзорности суетных дней. Печаль о том, что жизнь без сосредоточения утекает сквозь пальцы.

Чаще других я перечитываю любимый рассказ самого Чехова «Студент». Собственно, всегда на Страстную – наряду с «двенадцатью евангелиями», вменёнными в правило в это время каждому православному. Не рассказ, а чудо сжатости. По количеству тем и качеству аранжировки не уступит никакому роману мировой литературы.

Чехов и вообще-то гений сжатости, спрессовавший предшествующее художественное письмо и тем повернувший ход всемирного повествования. Взять хоть мучительнейшую тему «борьбы полов».

Тургеневские «Вешние воды», толстовская «Крейцера соната» и – чеховская «Ариадна» (или хоть та же «Попрыгунья»). Как суживающаяся воронка, нагнетающая напряжение потока.

Стоило в дальнейшем чуть сгустить чеховскую пристальность, и получался гротеск, возлюбленный двадцатым веком. Из «человека в футляре» Беликова получался «мелкий бес» Передонов. Еще нажим – и нарисовывались фантомы Франца Кафки (коему судьба отпустила те же сорок с небольшим, что и его главным кумирам – Гоголю и Чехову).

Ещё сдвиг резьбы – и получался театр абсурда. Все они – от Ионеско до Беккета – признавали Чехова своим отцом. Потому что первым сделал главным действующим лицом непреодолимое пространство между героями. Первым научил героев ронять слова мимо друг друга, первым наполнил смыслами пустоту. Увидел в ней современное одиночество и – при всей видимой незаполненности – несвободу. Несвободу от омертвевших слов и привычек, от клише и бессмыслицы закосневших обыкновений.

«Творчество из ничего», как припечатал Чехова Лев Шестов? Нет, драма жизни, в эту самую ничегошность погружённой. Тоска по другой, лучшей, осмысленной жизни; ведь она – каждый чувствует – где-то рядом. Мисюсь, где ты?

Мартин Вальзер, один из двух–трёх лидеров современной немецкой литературы, начинал как литературовед (диссертация о Кафке), потом перешёл к социально-критической прозе и – вполне «абсурдистской» – драматургии. Как-то он признался мне, что где бы в Германии – хоть в Крефельде (почти Крыжополе, по-нашему) – ни ставили Чехова, он, узнав из газет о премьере, немедленно прыгает (в свои семьдесят лет) в автомобиль и мчится через всю страну на очередное свидание с русским драматургом. Которого в Германии, как и во всём мире, ставят не реже, чем Шекспира. Чехов и несть ему конца. Почему так? «Потому что, – пояснил мне писатель, – у него не наши, абсурдистов, головные конструкции, хоть и из него высосанные, а живая при этом жизнь, все ещё завораживающая, питающая энергией».

На пути к энтропии Запад оказался впереди нас. И не нашёл лучшего от неё лекарства, чем Чехов.